

КНИГИ, КАРТИНЫ,
ТЕАТР МОЕГО ДЕТСТВА

1

Отец.

Воскресенья в Третьяковской галерее.

Мои друзья — картины.

«Открытия».

Жизнь отца.

Издательство И. Кнебель

Папа — это ласковые и строгие глаза. Это рука, в которую вклады-
ваешь свою детскую руку и чувствуешь, как твоя беспомощность
обворачивается силой, потому что отец взял твои страхи и сомне-
ния на себя. Ты идешь около него, твердо веря, что теперь с тобой
ничего плохого не может случиться и впереди — счастье...

А потом из радостного тумана ласки, нежности и строгости, который
обволакивает в памяти детские годы, встает папа — отец, который на
весь день уходит в громадный книжный магазин, почему-то называемый
«Издательство И. Кнебель». Домой он приносит чудесные книжки и по-
казывает нам картинки.

Отец, показывающий картинки в детских книгах, потом — картины
в Третьяковской галерее, куда он водил нас каждое воскресенье...

Мы жили на Петровских линиях, в квартире, расположенной над
издательством. Отец весь день проводил там, внизу, а вечером работал
дома. Мы знали — в папе входить нельзя. Надо ждать, когда

он сам придет к нам в детскую. Папа наш только в воскресенье. В будни с нами мама, в доме главная — она. Даже папа, которого все уважают, папа, который каким-то чудесным образом создает книги, получает золотые медали на международных книжных выставках, знает четырнадцать языков и рассказывает захватывающие истории про художников, — этот папа, так же как и мы, боготворит маму и слушается ее.

Воскресенье было праздником — мы шли в Третьяковскую галерею. Отец не позволял нам «объедаться» картинами — за одно посещение он давал нам посмотреть картин десять-пятнадцать, не больше, зато по-долгу стоял с нами около каждой. А вернувшись домой, раскрывал альбом репродукций Третьяковской галереи и начинал игру в «узнавалки». Мы, дети, узнавали картины и наперебой вспоминали цвета, краски, отдельные детали.

Мы знали, что отец будет хвалить нас, если мы что-то самостоятельно разглядим в картине. Это развивало в нас детский азарт — хотелось обязательно найти то, что, как нам тогда казалось, отец сам не заметил.

Может быть, именно эта игра делала картины русских художников удивительно близкими, к ним тянуло все вновь и вновь. С годами мое восприятие живописи, естественно, расширялось и изменялось, приходило проклонение перед Рембрандтом, Веласкесом, Ренуаром, Дега, Пикассо, Модильяни, но все-таки основу любви к живописи я получила в длинных, с хорошо натертym паркетом залах Третьяковской галереи.

Русская живопись навсегда осталась самой сильной и, если хорошо так сказать, интимной привязанностью из всех, связанных с мировым живописным искусством.

Отец так заразил меня любовью к картинам, что я скучала по ним, как по живым людям.

Какой-то особой, острой любовью я любила «Похороны крестьянина» Перова. Первое впечатление о смерти, которое так сильно влияет на душу, я получила, глядываясь в эту картину, еще не испытав в жизни тяжести утрат.

А вот и мое маленькое «открытие» — я вдруг заметила кусочек савана, торчащий из гроба. Тогда отец рассказал нам, что это — найденная художником деталь, она помогает представить, что этой семье никто не помог в несчастье, а у женщины и двух малюток не хватило сил, чтобы закрыть как следует крышку гроба.

Отец разговаривал с нами, как со взрослыми, и за это я ему навсегда благодарна. Многое из того, о чем он нам говорил, я поняла, конечно, значительно позже.

Он учил нас вглядываться в среду, которой художник окружает событие. Обращал наше внимание на холодный, серый пейзаж картины Перова — серая земля, серое небо, серый заиндевевший лес...

Не подозревая об этом, отец преподавал мне первые знания в области режиссуры.

В «Не ждали» Репина он объяснял нам, как одно и то же душевное движение художник раскрыл через психологию разных людей. Совсем не знает вошедшего горничная. Узнают, но совсем по-разному, девочка и обе женщины. Узнал мальчик. Образ вошедшего раскрыт через детали — простой крестьянский зипун, на недавно бритой голове отрастает жесткая щетка волос, ноги ступают тяжело, словно на них еще висит тяжесть цепей; в глазах застыл вопрос — что его тут ждет. Из окна и дверей, ведущих на балкон, падают искрящие солнечные лучи. А мягкие сочетания золотистых и голубоватых тонов окутывают все происходящее атмосферой тихой и грустной радости...

Позже я полюбила «Девочку с персиками» Серова — такая здоровая и чистая эта удивительная девочка, с ее ясными карими глазами и нежной пушистой кожей, похожей на кожицу лежащих перед ней персиков.

Я боялась смотреть на «Неутешное горе» Крамского, но меня властно притягивала к себе эта картина.

«Боярыню Морозову» Сурикова отец показал мне впервые на расстоянии — через несколько залов. «Посмотри, как картина может передать движение», — сказал он. И действительно, я увидела: мальчик догоняет сани, за ними — поворотом голов, движением рук — следует толпа, в снегу остаются глубокие следы, по ветру летит солома из саней, стелется подол черного платья... Сани стремительно уходят в глубину картины. И среди всего этого движения, влекомая им, фигура Морозовой, с вдохновенным бледным лицом, сверкающими глазами и высоко вздетой в двуперстии рукой. «За что она борется?» — спросила я отца. «За свою правду», — сказал он.

Увидев впервые на сцене М. Н. Ермолову, я почему-то сразу вспомнила боярыню Морозову. В Ермоловой я тоже почувствовала свою правду, и это, пожалуй, самое существенное, что сохранила моя память о ней.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван» никогда не производила на меня того тяжелого впечатления, о котором так много говорили в пору моей юности. Я видела нечаянно убившего отца и умирающего, но не прощающего сына. И став взрослой, я всегда отходила от картины с чувством преклонения перед художником, который сумел так точно передать психологию нечаянного убийства и страстного желания исправить содеянное...

Позже я стала увлекаться Левитаном. Я любила его «Март». Мне казалось, я слышу звон капели, стекающей с кровли, а из открытых дверей сейчас кто-то выйдет, и лошаденка, ожидающая этого кого-то, блаженно жмуриится, подставляя себя ласке первых солнечных лучей.

Когда был прочитан рассказ Чехова «Агафья», вспомнился левитановский «Золотой плюс», его тишина, прозрачность и последние краски догорающего дня: «Казалось, тихо звучали и чаровали слух не птицы, не насекомые, а звезды, глядевшие на нас с неба...»

Совсем особое, таинственное чувство вызывал Врубель. Я всегда долго стояла перед его «Царевной-Лебедью». Мне нравилась неуловимость перехода от человека к сказочному существу. В мягких переливах сиреневого, розового, серебристого никак не уловишь, где кончаются кружева платья и где начинаются крылья фантастической птицы. Казалось, эта птица куда-то уходит, уплывает, зовет за собой...

Так проходило воскресное утро в Третьяковской галерее. Теперь я часто думаю, что именно отец с его страстной любовью к живописи, умением заражать силой искусства, сам того не желая и не ведая, толкнул меня к театру. Первые, необычайно острые впечатления, которые оставила в детстве русская живопись, долго, в течение всей жизни, питали память и воображение.

Каждый человек бывает благодарен своему первому учителю. Это особое чувство я испытываю к своему отцу. В детстве я просто любила его. Теперь я понимаю, почему он вызывал такое глубокое уважение у многих деятелей русской культуры. Его биография необычна и интересна.

Как случилось, что мальчик, родившийся в предместье маленького галицийского городка Бучач, в многодетной еврейской семье, прожив трудную, голодную жизнь, в результате стал крупнейшим издателем — пропагандистом русского искусства? Жизнь нередко плетет истинно фантастические узоры, задает человеку самые удивительные вопросы и ставит, казалось, неодолимые трудности. В столкновении с этой жизнью и раскрываются способности, которые в результате оказываются огромной силой.

Отец ушел из дома из-за того, что дед удариł его по лицу. Ударил за то, что тринадцатилетний сын заступился за мать. Без денег, с котомкой, в которой была краюха хлеба, он побрел пешком в Вену. Почему в Вену, он и сам не знал, ему казалось, что там его не найдут и там он станет доктором. Почему именно доктором, он тоже не знал, эта мысль ему пришла по дороге в Вену и показалась заманчивой. Он знал, что человек должен приносить другому человеку добро.

Путем невероятных личений, голода, бездомного существования, чистки сапог на улице, торговли газетами и т. д. он добился права учиться, кончил гимназию и поступил на медицинский факультет. Учась и бегая по частным урокам, он познакомился с венским издателем. К этому времени интерес к живописи, страсть к книге, жажда путешествий и интерес к языкам стали для него осознанным влечением. Издатель, сыну которого он вправлял мозги по математике, стал водить его в типографию.

фию, познакомил с техникой печатания. Отец к тому времени понял, что медицину он не любит. Он решил стать издателем. Все смеялись над ним: чтобы стать издателем, нужны деньги. Отец был спокоен — он знал, что умеет работать, как вол. Он решил, что перейдет с медицинского факультета в Коммерческий институт, а одновременно будет изучать издательское дело и языки. Кроме того, он решил изучить живопись всех стран. Почти без денег, систематически голодая, он все-таки на каникулы уезжает путешествовать и часами и днями сидит в музеях разных стран, изучая полотна великих мастеров.

К этому времени идея издавать книги по живописи становится для него настолько осознанной целью, что остается решить вопрос, где можно осуществить свою мечту. В Вене он не останется — насмешки над его мечтами оскорбляют его гордость. Глядя на его стертые башмаки и несменяющийся в течение всей студенческой жизни пиджак, окружающие называют его не иначе, как «издатель». И вот он подбивает четырех своих товарищей по институту в поисках счастья уехать из Вены. В день окончания высшего учебного заведения отец пишет на четырех записках названия разных стран. Друзья дают клятву — через три дня уехать в страну, которая выпадет им по жребию. Отец вытаскивает записку: Россия. Через три дня, несмотря на уговоры товарищей, говорящих, что смешно всерьез относиться к клятве, данной на студенческой пирожной, и нельзя ехать в Россию, не зная языка и не имея ни гроша в кармане, — несмотря на все это, он уезжает в Москву.

Отец часто вспоминал, что единственным его багажом был немецко-русский словарик, а единственным ориентиром — книжный магазин Девриена, торгующий иностранной литературой, — туда он надеялся устроиться на первых порах, пока не изучит русский язык. Решаясь на поездку в неведомую для него страну, он был убежден, что одолеет ее язык — у него были к этому феноменальные способности. К концу жизни он знал четырнадцать языков.

Однако, уезжая в Москву, он вовсе не думал, что останется в России на всю жизнь. Он рассматривал свою поездку скорее как путешествие, которое насытит его любопытство к новым землям и новым музеям. Кроме того, он дал клятву, пусть во время пирожной, но все же клятву. Это была вторая клятва в его жизни. Первую он дал своему отцу, уходя из дома: что никогда не вернется домой, как бы плохо ему ни было. Эту клятву он сдержал, хотя нежно любил свою мать и в самые трудные периоды своей жизни, отказывая себе во всем, посыпал ей деньги и подарки.

Русского искусства отец не знал. В 70-х годах прошлого столетия русская живопись в Европе не пропагандировалась.

И вот в Москве, работая продавцом в книжной лавке Девриена, изучая русский язык, голодая — каждая копейка откладывалась на будущее

«издательство», — отец начинает знакомиться с русской живописью. Она производит на него громадное впечатление. Много раз отец рассказывал мне, что, увидев в Троице-Сергиевой лавре рублевую «Троицу», он подумал: это сильнее «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Посещение Третьяковской галереи решило его судьбу. Первой мыслью было: почему до сих пор никто в мире не знает, какими картинами богата эта страна? Начались бессонные ночи — отцом овладела идея издать альбом репродукций картин Третьяковской галереи. Он был захвачен этой мыслью, как фанатик. У него не было друзей, с которыми можно было бы поделиться мечтами, а те, которым он пытался что-то рассказать, смеялись: «А деньги? Откуда ты возьмешь деньги?»...

В книжную лавку Девриена заходил молодой офицер — Гросман. Остзейский немец, он хорошо говорил по-немецки, и отец подружился с ним. Семья Гросмана ласково приняла отца. Это была первая семья в его жизни, которая относилась к нему тепло и дружески. По воскресеньям его приглашали к обеду, и молодой Гросман с восторгом выслушивал его несбыточные фантазии. Постепенно он сам увлекся планами издательства, и они решили общими усилиями организовать издательскую фирму «Кнебель и Гросман». Денег не было ни у того, ни у другого. Отец написал путеводитель по Москве, Гросман отредактировал его, — блестяще знавший немецкий, французский и английский, отец русским языком в те годы владел далеко не в совершенстве. Сколотив по копейкам какую-то сумму, они отпечатали свое творение. Внизу была строчка, которая наполняла отца глубокой радостью, — «Издательство Гросман и Кнебель». Но доход, полученный от путеводителя, оказался таким мизерным, что нечего было думать о каком-то более серьезном предприятии.

Вскоре Гросман умер от скоротечной чахотки; умер единственный человек, веривший мечтам об издательстве. Отец продолжал стоять за прилавком в магазине иностранных книг, по воскресеньям ходил в музеи и мечтал, обдумывал, фантазировал. Наконец он выносил план. Нужно было только одно: чтобы ему поверили. Главным в массе людей, которых он решил привлечь к своему плану, был Павел Михайлович Третьяков. В каком качестве представиться ему — «приказчик фирмы Девриен»? Бессмысленно. Тогда отец решил отрекомендоваться австрийским подданным, любителем русской живописи.

Отец рассказывал, как он десятки раз переписывал письмо к Третьякову с просьбой о встрече. Увидев молодого человека — иностранца, который уже много раз посещал его галерею и разбирался в этой сокровищнице, Третьяков радушно показал ему ряд новых полотен, еще не выставлявшихся. После любезного разговора о русской живописи Третьяков спросил отца, зачем, собственно, он добивался личного свидания. Тогда отец обрушил на Павла Михайловича все накопленные в течение

многих месяцев мысли о величии русского искусства, о необходимости издать сокровища, которыми владеет Третьяков, о том, что русскую живопись не знают не только в Европе, но и в России,— нет ни одного издания, в котором хоть в какой-то мере была бы отражена русская живописная культура.

Третьяков молчал и слушал так внимательно, что у отца свободно и легко рождались все новые доводы и доказательства. Наконец Третьяков прервал отца:

— Каким капиталом вы располагаете?

— У меня нет денег.

— То есть как нет? Совсем нет?

— Ни копейки.

— Не понимаю вас, молодой человек,— подчеркнуто любезно сказал Третьяков.— Вы, по-видимому, хотите увлечь меня интересным делом. Вы хотите, чтобы я вложил деньги в издательство. А что вы сами собираетесь делать в этом издательстве? Хотя...— прервал он сам себя,— это меня не может интересовать, весь мой капитал в мануфактурной фабрике, а живопись я просто люблю, я коллекционер, трачу на нее деньги и не собираюсь ничего на ней наживать.

— Вы меня не поняли,— с отчаянием сказал отец,— я хочу издавать вашу коллекцию!

— Молодой человек, вы понимаете, что вы говорите? Как же вы будете издавать без денег? Как бы мало я ни разбирался в издательском деле, но ведь всякому ясно, что на это нужна бумага, печать, фотография...

Отец рассказывал, что потом ни разу в жизни он не испытывал такого состояния собранности, как в этот момент. План был продуман до последней мелочи. Сейчас надо было коротко и точно сформулировать его так, чтобы такой опытный коммерсант, как Третьяков, поверил в него.

План состоял в том, чтобы Третьяков разрешил бесплатно с фотографировать отобранные им вместе с отцом картины. Отец брался уговорить (так же как он уговаривает сейчас Третьякова) специалистов-фотографов сделать это в долг. Потом он также уговорит типографию дать бумагу и напечатать издание. Все долги будут уплачены после распродажи издания, которое, несомненно, будет иметь оглушительный успех.

Прибыль, которую отец вычислял в совершенно точных, больших цифрах, он целиком предлагал Третьякову.

Третьяков, который редко смеялся, расхохотался.

— А себе вы сколько оставите? — смеясь, спросил он.

— Ничего,— ответил отец,— но зато я хочу получить полностью прибыль со второго издания.

— Знаете, молодой человек, — став вдруг серьезным, сказал Третьяков, — вы или сумасшедший или очень талантливый человек. Я скорее склонен думать, что вы сумасшедший. Но я ничем не рискую. Я дам вам разрешение фотографировать картины своей галереи, но имейте в виду: никогда и ни при каких условиях не просите у меня денег.

— Мие ваши деньги не нужны, — сказал отец, — и не я от вас, а вы от меня через год получите очень много денег.

Так, без средств, при помощи только огромной энергии, — ее хватило у отца на всю жизнь, — возникло первое в России издательство, которое в течение нескольких десятилетий пропагандировало богатства русского искусства.

Думая сейчас о деятельности моего отца, я решаюсь назвать ее в полном смысле слова просветительской. Главным вкладом его в русскую культуру я считаю широкое, многостороннее развитие эстетического вкуса — это было основой издательских принципов моего отца.

В издании детской литературы в то время господствовал грубый лубок. Отец привлек к оформлению детских книг Серова, Иванова, Билибина, Нарбута и других замечательных мастеров. Качество книги — иллюстраций, печати, бумаги — не могло не вызывать у читателей уважения и любви к искусству и литературе.

Отец издавал разнообразные пособия для школы. «Наглядность — основа обучения» — этот принцип лег в основу целого издательского дела. Таблицы по истории, географии, астрономии, этнографии, зоологии, минералогии и т. д. и т. п. — над всем этим также работали Рерих, Добужинский, Кардовский, Бенуа, Серов, Билибин, Лансере, Нестеров.

Если бы в результате деятельности отца остались только детские издания и альбомы Третьяковской галереи, Румянцевского музея, музея Александра III, частного собрания Терещенко, монографии Серова, Брубеля, Левитана, Нестерова, Рябушкина и других, и то его вклад в историю издательского дела в России был бы громаден. Но к этому добавляется еще огромнейший перечень.

Здесь и альбомы гравюр русских художников, и альбомы Пушкинской выставки в Москве и Петербурге. Здесь и репродукции картин Маковского, Орловского, Федотова, Верещагина, Айвазовского, Перова. Здесь и виды Соловецкого монастыря, и материалы по русской иконографии. Здесь и сборник композиций учащихся Строгановского училища, памятники древнего зодчества, история русской одежды, альбомы русских писателей и русских композиторов. «Русскую школу живописи» пишет Александр Бенуа.

Наконец — любимое детище отца, не доведенное до финала, — «История русского искусства», написанная И. Грабарем (вышло только пять томов).

Отец увлекся мыслью издать жизнь животных в фотоснимках с природы. Он находит людей, которые куда-то едут и привозят поразительные фотографии. Все это во времена, когда не было не только самолетов и экспрессов, но когда по Москве еще передвигались на конке. Какая громадная творческая энергия жила в этом человеке, таком скромном и бесконечно застенчивом в жизни!

Стоило возникнуть у него новой мысли, стоило ему услышать о чем-либо, могущем стать книгой или альбомом, и он,— как любила говорить мама,— «не доев котлеты», куда-то уезжал, чтобы самому, обязательно самому, увидеть Соловецкий монастырь, или Лондонскую национальную галерею, или какой-нибудь древний город России.

Когда он возвращался домой, ему, по-видимому, было необходимо рассказать о том, чем он был переполнен. Мы, дети, не понимали этого и немножко посмеивались над тем, что папа то часами разговаривает с нами, будто ни у него, ни у нас нет никаких дел, а то сидит у себя в кабинете, и к нему нельзя обратиться даже по самому существенному вопросу. Помню такой случай. Мне было тогда одиннадцать лет. Усадив всех кукол на диван, я читала им вслух «Униженных и оскорбленных».

Вошла мама, послушала и, решив, что нужно папино вмешательство, позвала его. Отец пришел, весь в своих мыслях. Выслушав маму, он спросил: «А почему ты считаешь вредным, чтобы куклы слушали Достоевского?».

Папино «вмешательство» в воспитание стало у нас семейной шуткой, хотя я потом часто думала, что отец не просто был занят, а упрямо держался некоторых педагогических позиций. Одной из них были, например, открытые библиотечные шкафы. Он считал, что ребенок сам разберется, что ему под силу читать, а что нет, сам поймет ровно столько, сколько ему позволит его возраст. Лишь бы он читал с интересом.

«Дурных книг у нас нет,— говорил он, успокаивая маму,— а не поймут, что за беда,— прочтут еще раз».

Сейчас только любители книг и знатоки искусства помнят имя моего отца, но для меня нет большей радости, когда кто-нибудь спрашивает меня: «А вы имеете какое-нибудь отношение к издательству Кнебель?», и я могу ответить: «Я его дочь».

Недавно меня познакомили с замечательным художником А. Пластовым. Это было во дворе Дома художников на Масловке. Был поздний вечер, чуть шел снег. Узнав, что я дочь «того самого Кнебель», Пластов снял шапку, низко поклонился мне, поцеловал руку и сказал: «Спасибо вашему отцу за красоту, которую он мне открывал в течение всей моей жизни прекрасными книгами...»

2

Я рассказываю сказку Льву Толстому.

Художники у нас в доме.

Мой первый режиссер — И. Грабарь.

«Вечер Федотова». Отца вызывают к Ленину

Одно из самых первых моих детских воспоминаний стало потом семейной легендой. Тут уже трудно отличить, что ты помнишь сама, а что тебе рассказали близкими... Мы, дети, редко заходили к отцу в издательство. Он не любил, чтобы мы ему мешали, и только изредка сам брал нас с собой впиз, чтобы мы посмотрели новые книги. Для меня это было ни с чем не сравнимым удовольствием. Радость от посещения книжных магазинов до сих пор живет во мне как непрояжитая и непропущенная радость детства. В день, о котором идет речь, я упросила маму пойти смотреть книги. Отец был занят. В кресле около папиного письменного стола сидел старик, весь заросший: белая борода, белые усы, большие седые брови. «У папы дед Мороз?» — спросила я, по-видимому, слишком громко. «Дед Мороз» услышал это, и отец позвал меня. «Я не дед Мороз, а Лев Толстой,— сочиняю сказки для детей. Хочешь расскажу?» «Хочу». Толстой посадил меня к себе на колени и стал рассказывать сказку про «девочку-мышь».

Было мне пять или шесть лет, понятие авторитета еще не существовало в моем детском сознании. Сказка мне показалась скучной, и у меня просло убеждение, что он мне все время за что-то выговаривает,— я же не чувствовала себя ни в чем виноватой. Кончилось тем, что я заплакала и объявила, что сказка плохая и я ее слушать не хочу. Ясно помню необычайно острые и удивленные глаза Толстого. «Чем же сказка плохая? — спросил он меня, будто мы были однолетки.— Тогда расскажи свою, пусть люди рассудят, чья лучше».

Кажется, это было мое первое ощущение актерства и первое ощущение зрителя, которого надо завоевать. Кабинет отца был наполнен людьми. Служащие толпились в комнате, все, кроме меня, понимали, кем был Толстой. Я видела явное недовольство отца и матери моим поведением, чувствовала, что «бородатый старик» главное моих родителей и что по его воле мне разрешили соревноваться с ним в рассказе. Он опять посадил меня на колени и, ласково глядя по волосам, сказал: «Ну, начинай! Если твоя сказка будет интереснее,— я принесу тебе завтра конфетку».

Сидя на коленях, рассказывать было неудобно, щекотала борода и сверлили пронизывающие глаза, которые я потом вспоминала всю жизнь. Я уселась на папин большой стол — это тоже было разрешено

в первый и последний раз в жизни — и стала рассказывать свою любимую сказку «Аленький цветочек».

Хорошо помню, как меня слушал Толстой и какая необыкновенная тишина была в комнате. Помню ясную мысль — это дед Мороз им всем велит слушать сказку, он — колдун, пусть знает про аленький цветочек.

По-видимому, это первое актерское выступление в моей жизни, стоило мне большого нервного напряжения. На следующий день я заболела. Лев Николаевич Толстой привез мне в этот день большую коробку шоколада, которую я потом долго хранила.

Сколько интересных людей видела я у отца! Серов, Левитан, Бенуа, Рерих, Добужинский, Нарбут — это далеко не полный перечень тех, кто бывал у нас в доме.

В. Серов, как помню, сидел за столом, немногословно участвуя в общем разговоре, и, склонив крупную голову над бумагой, непременно что-то чертил или рисовал. Иногда, отрывая глаза от рисунка, взглядал на собеседника коротко и исподлобья.

В доме у нас много говорили о его картине «Петр I». Она была написана Серовым по заказу моего отца, как иллюстрация к школьному пособию. Однажды при мне Грабарь передавал отцу свою беседу с Серовым. Серов с увлечением рассказывал Грабарю о том, как петербуржцы боялись Петра, описывал его внепиность, громадный рост и маленькую дергающуюся в нервном тике голову, огромность шага и дубину в руках. «Это будет замечательная картина,— говорил Грабарь.— Он хочет ее строить на стремительности движения...» (Впоследствии Грабарь поместил этот разговор в свою известную монографию о Серове, вышедшую в издательстве моего отца.) Я с огромным нетерпением ждала, когда картина будет готова. Она произвела на меня очень сильное впечатление. Действительно, казалось, что стремительность движений живет и за пределами рамы. Будто там бежит несметное количество людей, так же лихорадочно-испуганно следующих за Петром, как те, которых мы видим около него.

Грабарь восторгался одной интересной деталью картины. За фигурой Петра, на небольшом расстоянии от него, видна корова, опустившая голову к воде. Размер ее неоправданно мал, но именно этот размер подчеркивает громадную фигуру Петра, идущего по первому плану. Все в картине находится в движении, и только эта корова неподвижна. И, наконец, все сделано в серо-голубых холодных тонах — только корова решена оранжевым цветом, он контрастным пятном подчеркивает остальную гамму картины.

Помню любопытный случай из своего детства, связанный с творчеством Серова. Ехали мы с родителями поездом. Сидели в купе. Стало душно, и отец открыл дверь в коридор. Я увидела в коридоре человека, которого, сомнений не было, я хорошо знала, только не могла вспомнить

откуда. Все в нем было знакомо — и посадка головы, и два пальца, опущенные в жилетный карман. Он стоял полу спиной к нам, глядя в окно, не замечая моих любопытных глаз, и тут я его узнала. «Папа — это человек с портрета Серова! Я видела его на выставке... Папа — посмотри!» — крикнула я в полном восторге.

Он быстро обернулся. Таких злых глаз я не видела. Злое выражение сменилось сдержанной любезностью, и он вежливо раскланялся с отцом. Это был известный банкир Гиршман, портрет которого висит теперь в Третьяковской галерее. Потом уже отец объяснил мне, в чем дело. Оказывается, когда Гиршман заказал Серову портрет, Серов назначил большую сумму денег. Гиршман согласился и начал позировать. Но у Серова была одна особенность — он не разрешал в процессе работы смотреть еще незаконченное полотно. Готовилась первая выставка произведений Серова, и портрет должен был экспонироваться на ней. Гиршману это льстило, и он терпеливо позировал. Но когда наконец художник показал ему портрет, он пришел в бешенство. С полотна высокомерно смотрел человек с холодно-хищными глазами, небрежно опустивший два пальца в жилетный карман, как бы за золотыми, — он все может купить. Портрет был написан беспощадно, и сходство при этом было абсолютное. Говорили, что Гиршман предлагал Серову громадные деньги за то, чтобы он не выставлял портрета. Но художник был неумолим.

Представляю, что пережил этот всемилюбимый банкир, услышав, как даже ребенок радостно узнал его по ненавистному портрету!..

...Особое место в моих детских воспоминаниях занимает Игорь Эммануилович Грабарь. Отца с Грабарем связывали особые отношения, полные тепла и единомыслия. Грабарь был его другом и вдохновителем, человеком, в чей вкус он безоговорочно верил.

А мы, дети, были просто влюблены в Игоря Эммануиловича, нам нравилось в нем все, начиная с внешности. Он рано облысел, и поэтому голова его казалась круглой и большой. Она действительно была чуть великовата по отношению к невысокой, коренастой фигуре. У него было румяное лицо (этот румянец сохранился даже в старости) и мягкий нос, на котором сидело пепси, веселые и умные карие глаза. Он говорил нам, что некрасивый, но нам он казался «лучше всех». Во всей его фигуре и лице было что-то веселое, энергичное и умное.

Грабарь любил детей и к тому же был неистощимым рассказчиком. В его голове хранился неисчерпаемый запас интересных историй. Он всегда откуда-то приезжал, куда-то уезжал, а возвращаясь, рассказывал нам новые истории и, конечно, объяснял картины. Он первый задал мне вопрос, который впоследствии, когда я стала актрисой и режиссером, неоднократно занимал меня: «Как ты думаешь, какой голос у сурковской «Боярыни Морозовой»? А у репинской «Стрекозы» или у федотовской «Вдовушки»? Он первый рассказал нам об Италии, заразив меч-

той о поездке в Венецию, Флоренцию, Рим. Он говорил о русских иконах так, как рассказывают чудесные сказки, и для меня на всю жизнь чувство прекрасного связалось с тем необъяснимым настроением, которое возникало всегда, когда приходил Игорь Эммануилович. Он играл с нами в путешествия, заставляя задавать ему вопросы, и отвечал на эти детские вопросы красиво, поэтично, образно. А потом начиналась возня, и мы, облепив его, носились по всей квартире...

Грабарь объяснял нам каждую мелочь в картинах своего любимого Федотова, заставляя подробно рассматривать не только людей, но и детали костюмов, и вещи в комнатах. Проходя в кабинет к отцу и мимоходом заглядывая в детскую, Игорь Эммануилович спрашивал: «А нука, какую еду подают на стол в «Сватовстве майора»? Чыи там портреты висят на стене и что лежит на боковом столике рядом с просвиркой?». Я видела только темную точку. А он, к моему полному восторгу, объяснял, что это копейка — сдача после покупки просвирки.

Однажды он взял нас троих, еще каких-то знакомых ребят и провел целое утро в Третьяковской галерее, показывая только одного Федотова. Так на всю жизнь и остался у меня в душе Федотов, пересказанный Игорем Грабарем.

Он объяснял содержание картин и одновременно вселял в душу восхищение художником, умевшим творить такие чудеса.

«Вот купецкий дом. Всего вдоволь в нем,— читал Грабарь куски из «Рацеи» Федотова, подводя нас к картине «Сватовство майора».— И вот сам хозяин — купец. Денег полный ларец,— показывал он на фигуру бородатого купца.— А вот сваха,

отставная деревенская пряха...
...бессовестная привираха...
...идет с докладом,
что, дескать, жених изволил пожаловать».

Показывая невесту, он невероятно смешно и жеманно говорил:

Мужчина! чужой!
Ой, стыд-то какой!

Мы смеялись до упаду.

А Грабарь, поразив нас таким мгновенным перевоплощением, уже рассказывал, как замечательно написаны обнаженные плечи и жеманно раскинутые руки у невесты, как изящна линия головы и шеи и как выразительна рядом с ней тяжелая, грузная фигура ее матери, ухватившей дочку за платье и сложившей оттопыренные губы так, что ясно слышится звук «у-у-у». Она, конечно, произносит по адресу дочки «дууура». На голове ее сизый платочек по-старинному,

Остальной же наряд
У француженки взят,
Лишь вечер для нее и для дочки...

А каковы эти наряды!

Дочка в жизни в первый раз,
Как боярышня у нас,
Ни простуды не боясь,
Ни мужчин не стыдясь,
Кажет все напоказ...

«Смотрите, — говорил Грабарь, — розовая кисся на платье невесты сделана так, что виден шелковый чехол под нею, а там, где кисся немного длиннее чехла, заметны кусочек пола и атласный башмачок». «Тебе не хочется поднять упавший кружевной платочек?» — спрашивал он меня, а потом говорил о том, что розовые легкие краски платья невесты сгущаются и переливаются в тяжелые тона платья матери. Оно сделано из шелка «шанжан», он и розовый, и лиловый, и синий, смотря по тому, как ляжет волна шелка...

Результатом этого дня было решение Грабаря устроить у нас дома «вечер Федотова».

У нас была гостиная, разделенная аркой со шторой. В меньшей ее части поместились мы, «актеры», во главе с Грабарем. Большая часть комнаты была наполнена публикой, в высокой степени квалифицированной. Там сидели и Бенуа, и Серов, и Левитан, и многие другие замечательные художники. Но мы были так весело подчинены требованиям Игоря Эммануиловича, что совсем не волновались. Исполнителями были только дети. Мама взяла на себя труд по подбору костюмов, а сам Игорь Эммануилович читал напеву «Рацею».

Честные господа,
Пожалуйте сюда!
Милости просим,
Денег не спросим:
Даром смотри,
Только хорошенко
Очки протри.
Начинается, начинается
О том, как люди на свете живут,
Как иные на чужой счет жуют.
Сами работать ленятся,
Так на богатых женятся.

Я в «Сватовстве майора» играла майора, за которого купец решил выдать дочку и которого Федотов весело характеризует:

И вот извольте посмотреть,
Как в другой горнице
Грозит ястреб горлице,
Как майор толстый, бравый,
Карман дырявый,
Крутит свой ус:
«Я, дескать, до денежек доберусь!»

Когда всех нас расставили по местам в точных позах федотовских фигур, он шепнул мне: «Для майора главное: «пришел, увидел, победил!». Это было, кажется, первое знакомство с «зерном» характера...

...Революция ворвалась гигантским вихрем в нашу жизнь. Помню отца, растерянного, не понимавшего, что будет с делом его жизни, с издательством. Шли разговоры о национализации, о категорическом устраниении бывших владельцев. А отец в Москве, в которой совершился переворот всемирного значения, в дни, когда выходить на улицу было запрещено, каждое утро, в девять часов, несмотря на слезы матери, открывал, как он привык это делать всю жизнь, большой неуклюжий замок, висевший на дверях издательства, и проводил там в полном одиночестве целый день. «Что ты там делаешь?» — допытывалась мама. «Работаю. У меня много дел!»

Не знаю, о чем тогда думал отец. В эти дни он был неразговорчив, замкнут. Он упрямо не хотел менять образ жизни и продолжал проводить целые дни в пустом помещении, пахнувшем типографской краской и книжной пылью, — тем особым, ни с чем не сравнимым запахом книжного магазина, который навсегда остался для меня волнующе-любимым.

В один из первых дней рождения молодой республики, когда еще шли бои на улицах, к нам домой, постучав прикладом в дверь, хотя звонок работал, вошел молодой боец, обвешанный пулеметными лентами. Он передал повестку, в которой говорилось, что отца — «Иосифа Николаевича Кнебель, книгоиздателя» — вызывают в Совнарком, к Ленину. Вызов был назначен на следующий день. Сутки мы прожили в необычайном напряжении. Отец не делился ни с кем своими мыслями, а каждый из нас по-своему представлял себе грядущий день. Но жизнь, как это она часто делает, спроектируя все наши предположения.

Мне кажется, отца больше всего поразила необычайная простота свершившегося. В приемной у Ленина он встретил еще двух издателей — Сытина и Саблина. Отца вызвали в кабинет к Ленину.

— Здравствуйте, Иосиф Николаевич, — сказал Ленин весело и энергично, — ну как, саботировать или работать?

— Работать, — без малейшей заминки ответил отец.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru